

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РАЗНООБРАЗИЕ КУЛЬТУР:
РОССИЯ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ*

ДРЯХЛЫЙ ВОСТОК И СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

А.В. Пименов.

Попытки осмыслить многочисленные черты политической и духовной организации, отличающие Россию от Западного мира, — один из важнейших аспектов ее интеллектуальной истории. В XX веке было осознано еще одно измерение этой проблемы: общество «реального социализма», построение которого стало следствием октябрьской революции, обнаружило удивительное сходство с деспотиями Древнего Востока. Близость модели, целенаправленно воплощавшейся в жизнь в ходе величайшего социального эксперимента, к самому архаическому из всех классовых обществ многократно становилась предметом исследования. К.А. Виттфогель и М. Джилас, Ю.И. Семенов и И.Р. Шафаревич, Л.С. Васильев и О.М. Шкаратан — вот далеко не полный перечень авторов, обращавшихся к этой теме. Структура тотальной власти, ее духовные и, в частности, квазирелигиозные последствия, ее воздействия на отношения между этносами, а также факторы, обуславливающие становление и гибель тоталитаризма — этим вопросам посвящена и предлагаемая работа.

Гротеск как метод

«Я жила в неволе, но всегда была свободна: я заменила твои законы законами природы, и ум мой всегда был независим».
(Ш. Монтескье. Персидские письма)

Близость обществ «реального социализма» к деспотиям Древнего Востока — давно уже не новость, а, скорее, общее место. Правда, — лишь в качестве наблюдения, когда-то поразительного, а теперь привычного. Природа же этого сходства по-прежнему не ясна.

Нельзя, однако, пройти мимо одного небезыщтересного обстоятельства. Кто бы ни взялся за описание «тотального господства» — историк, журналист, поэт или политик, — рассуждая об «азиатском деспотизме», каждый становится обличителем. Восточ-

* Статьями данного раздела журнал открывает дискуссию о месте России в современном мире.

А.В. ПИМЕНОВ
Дряхлый Восток и светлое будущее

ная аналогия не то, чтобы обычно, а просто всегда носит нескрываемо сатирический, памфлетный характер. Указать на нее — все равно, что обозвать современного диктатора Чингисханом, а его подручных — сатрапами или янычарами.

В качестве характерного свидетельства этой традиции на раннем этапе ее существования можно рассматривать слова Узбека в «Персидских письмах» Ш. Монтескье о короле Франции (намек на Людовика XV): «Из всех правительств на свете ему больше всего по нраву турецкое и нашего августейшего султана: так высоко ценит он восточную политику» (1, с. 101), а на позднем — многочисленные «восточные» детали в классической антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» — и сому, предлагаемую властями предержащими рядовым гражданам как средство самоуспокоения и решения всех душевных проблем, и кастовый строй, и само имя «главноуправителя» — Мустафа Монд (2, с.297-488).

Это не означает, конечно, что обнаружение архаической глубинной основы в архитектонике «прекрасного нового мира» всегда преследовало лишь одну цель — как можно убедительнее этот мир разоблачить. Но ведь и сущность сатиры вовсе не в том, чтобы было «смешно». Комизм — только лишь способ снижения образа, прием, помогающий достичь «эффекта отстранения», высветить расстояние между изображающим и изображаемым.

«Так называемая сатира получается потому, что рассмотрение отчужденных функций, во-первых, абстрагирует человека, во-вторых, дает его не изнутри, а извне. Операция эта может убить не только конкретность эмпирической личности, но и конкретность исторического деяния. Кто такой Пушкин? Пушкин, — говорила вульгарная социология, — помещик крепостной поры... Пушкин и в самом деле был помещик, и это даже сказалось на его отношении к разным вещам, например, к русскому бунту. Но не в этом, однако, общественная функция Пушкина. Анализируя человека, надо следить, чтобы его мнимые функции не заслонили действительных... Но и действительная социальная функция человека отчуждает его от личных качеств и суммирует с обладающими совсем другими личными качествами... Нас окружают соблазны прямолинейных соответствий... Но ситуация втягивает в себя разнообразный человеческий материал... Функция человека устанавливается извне. Но внутри человек видит другое — конкретные и разные причины своих поступков... То, что изнутри есть процесс, единичность и множественность, не уловимая словом, то извне — сумма, форма, название...»

Полярный сатире психологический анализ XIX века брал человека в целом и изнутри... Мы больше этого не хотим. Мы — современники тех, кто бывал расположен сделать себе портсигар из человеческой кожи. Наш детерминирующий анализ имеет предел, перед которым он останавливается. У зажегших печи Освенцима и им подобных нет психологии...» (3, с.309).

«Пафос дистанции» играет, как легко заметить, двойственную роль: он позволяет увидеть пирамидальную структуру, рассмотреть ее фундамент, вершину, несущие конструкции, и он же закрывает путь к пониманию внутреннего мира людей, ставших не только строителями пирамиды, но и материалом для ее постройки. Перед нами скелет, но не живой организм.

Правда, в тех случаях, когда нет даже упоминания об азиатском деспотизме, складывается сходная картина. Говоря о причинах, обусловивших появление тоталитарных режимов, классики этой темы — от Н.А. Бердяева до К. Р. Поппера — исследовали главным образом ту или иную «болезнь ума», будь то «чары Платона» или наследие старообрядцев. Но стоит только обратиться к «закрытому обществу» в его сложившемся, ставшем виде, как люди, составляющие его, незаметно превращаются в кукол на шарнирах. Они — лишь проводники окостенелых общественных отношений, объекты внешнего воздействия, точки приложения сил.

Сущность этого подхода очень точно выразил когда-то Д.С. Мережковский, упрекнувший Герберта Уэллса в том, что тот не узнал в большевиках своих собственных героев — автор «Войны миров» не заметил, что имеет дело с марсианами.

Многие важные детали и вправду проясняются, когда на смену философу приходит романист. Переживания Уинстона и Джулии в «1984» представляют собой только реакцию на мир, окружающий героев романа, мир министерства любви и следящих за зрителем телеэкранов. Героям Дж. Оруэлла плохо, когда система усиливает давление на них, и хорошо, когда появляется кратковременная отдушина. Вне этого контекста они полностью теряют не только индивидуальность, но вообще какие-либо опознавательные знаки. Строго говоря, так и должен выглядеть «одномерный человек».

Существует, однако, иной и, по-видимому, важнейший пласт жизни, которую вынужден вести этот перевернутый мир: тот, что полностью теряется из виду при сатирическом методе описания. Это — жизнь людей, *нормальных* с точки зрения данного общества, дисциплинированных и благонадежных. Ведь Уинстон и Джулия — если и не с самого начала диссиденты, то, во всяком случае, с первой минуты — лица с отклоняющимся поведением. Они, да и циничный бюрократ О'Брайен, давно — хотя по разным причинам — излечились от всякой «заидеологизованности», излечились *почти полностью*.

Да и Мустафа Монд в романе О. Хаксли тоже в молодости был свободомыслящим ученым-физиком и лишь впоследствии, по его словам, перестал «заниматься подлинной наукой», чтобы «служить счастью» (2, с. 465-467).

Почему Оруэлл, гениальный наблюдатель системы — но наблюдатель со стороны — делает своими героями отщепенцев, объяснений не требует. Они ему ближе, их он понимает — как один нормальный человек понимает другого. Но что сказать о других, соответствующих совсем иной — перевернутой — норме?

Их внутренний мир остается по-прежнему закрыт. О них можно сказать лишь одно: это — рабы, и взгляды у них — соответствующие. А в момент особого отчаяния и ожесточения им вообще можно отказать в праве называться людьми и изобразить в виде скользких саламандр — отвратительных и жизнестойких (4).

Так в непривычной ситуации высвечивается старая проблема, хорошо знакомая специалистам-мифологам. «Тот, кто изучает мифы, — писал когда-то известный филолог-скандинавист М.И. Стеблин-Каменский, — конечно, в них не верит. Он поэтому не может не воспринимать их как вымысел. Но тем самым он подставляет свое собственное сознание, т.е. сознание, для которого миф — это только вымысел, на место сознания, для которого содержание мифа было реальностью» (5).

А.В. ПИМЕНОВ
Дряхлый Восток и светлое будущее

Исследователь в который раз — но с неожиданной стороны! — приблизился к непреодолимому препятствию, отделяющему его от предмета исследования. Но лишь это препятствие делает исследование возможным. Только воспринимая миф отстраненно, историк может рассуждать о том, почему сложился тот или иной образ и какие «реальные», т.е. доступные его, историка, пониманию, обстоятельства повлияли на ход этого процесса. И незаметно в центре внимания исследователя оказывается не сам сюжет, а то, что стоит за ним, не изображение, а фон, не текст, а контекст.

Что же касается живого мифа, мифа, сохраняющего свою силу, то о нем не спрашивают, что означает его содержание. Оно «означает» только то, что в нем сказано — это и есть реальность. Более того, миф не просто сообщает истину, но делает это в единственно возможной, от века заданной форме. Если в известной японской сказке рыбка была не в силах рассказать, что такое море, то «человек мифологический» не может объяснить, в чем смысл мифа. У него просто нет для этого своих собственных, не заимствованных из мифа слов.

Турецкая правда

*«Ты спрашиваешь меня, что я думаю
о свойствах амулетов и могуществе
талисманов. Ты еврей, а я
магометанин: стало быть, мы оба
достаточно легковерны».*

(Ш. Монтескье. Персидские письма)

В 1240 г. император Фридрих Гогенштауфен совершил поступок, свидетельствующий о том, что прозвище «Чудо света» (*Stupor mundi*) было дано ему не зря. Глава Священной Римской империи германской нации разослал по различным странам мусульманского мира весьма примечательный документ — знаменитые «сицилийские вопросы». Государь христианской державы пожелал узнать, как последователи пророка трактуют фундаментальные вопросы религии. Императора-вольнодумца, к тому времени уже дважды отлученного от церкви, интересовало, что думают мусульманские ученые об отношении Бога к сотворенному им миру, об отношении разума к другим способностям человеческого духа, о категориях, помогающих объяснить мир, и, конечно, о бессмертии души.

Трудно судить о том, как отнеслись знатоки ислама к «сицилийским вопросам». Единственный сохранившийся ответ на них (он принадлежит Абд аль Хаггу ибн Сабину) составлен в откровенно пренебрежительных выражениях. Впрочем, как должен был правоверный мусульманин отвечать неверному? Споры были не в духе времени; религиозные разногласия решались иначе.

Правда, суровость ибн Сабина была скорее напускной. Выказав необходимую ортодоксальность, он прибавлял между прочим, что охотно обсудил бы с христианским императором интересующие его философские вопросы. Джорджина Массон, автор одной из лучших биографий Фридриха II, не без сожаления отмечает: как заманчиво было бы послушать их беседу, если бы она могла состояться! (6)

Два знаменитых вольнодумца так и не увидели друг друга. Близкое знаком-

ство императора Фридриха с культурой соседей-мусульман стало, однако, реальностью. А «сицилийские вопросы» — лишь одним, хотя и необычным, его эпизодом.

В глазах современников Фридрих выглядел заправским восточным правителем. Его многочисленные недруги утверждали даже, что, ведя переговоры с египетским султаном и дамасским эмиром, он перешел в ислам. И, несмотря на многократно подтвержденную беспочвенность этих слухов, широта взглядов императора на религию действительно превосходила все мыслимые пределы. На службе Фридриха было немало мусульман, не говоря уже о людях мусульманского происхождения. Некоторые из них получали весьма высокие должности. Так, например, один из ключевых постов при императорском дворе в Палермо — пост главного камергера (в его обязанности входило управление личным имуществом государя) занимал сначала некто Рихард, а вслед за ним — Джованни иль Моро (Мавр). Оба происходили из мусульманских семей; причем второй представлял собой особенно экзотическую фигуру: его отцом был чернокожий, а матерью — невольница-сарацинка.

Правда, все это было в диковинку лишь немецким подданным Фридриха, а также его врагам, плотно окружавшим папский престол. На Сицилии же, с характерным для нее издревле смешением племен, языков и обычаев, космополитизм «бессмертного императора» воспринимался по-другому.

Интерес Фридриха к Востоку имел, однако, еще одну немаловажную грань. По словам Дж. Массон, в его жизни была лишь одна любовь, которой он неизменно оставался верен — его сицилийское королевство. И именно по отношению к этой части своих владений «человек из Апулии» стремился в первую очередь выполнить главную обязанность императора — «дать народу справедливость».

Конечно, любовь Фридриха к Сицилии была не только привязанностью к родным местам. Наследник Штауфенов и норманнских королей, он лишь здесь был полновластным (как сказали бы позже, «абсолютным») монархом, в отличие от немецких земель, где подлинными хозяевами давно уже стали курфюрсты и многочисленные мелкие государи. Покинув Германию в 1220 г., чтобы совершить коронационную поездку в Рим, он в течение последующих тридцати лет своего царствования лишь дважды наведается сюда. Спокойствие в немецких землях приходилось оплачивать уступками — многочисленными «привилегиями» церковным и светским князьям. Власть императора над немцами постепенно превращалась в символ.

В Сицилийском же государстве она была вполне реальной. И секрет ее заключался даже не в том, что здесь титул короля передавался по наследству, и Фридриху не было нужды заручаться ничьим согласием — ни князей-избирателей, чтобы стать немецким королем, ни Святого престола, чтобы возглавить Священную римскую империю. Сами традиции государственного управления были иными.

В свое время, когда Отевиль захватил Сицилию, придать норманнскому вторжению «законный» характер можно было лишь одним способом: представить сицилийские земли как лен, полученный от римского первосвященника. Однако король Рожер II, отец принцессы Констанции и дед Фридриха Штауфена, не удовлетворясь этим, решил поставить господство норманнов на более прочную

А.В. ПИМЕНОВ
Дряхлый Восток и светлое будущее

основу. Это оказалось не таким уж трудным делом: достаточно было прислушаться к местной традиции и использовать ее в своих интересах.

Традиция же эта была унаследована от Византии. Потому-то власть монарха здесь возводили непосредственно к Богу, а любое сопротивление ей рассматривалось как святотатство. Подобно константинопольскому императору, без чьего одобрения даже решения церковных соборов не считались действительными, правитель Сицилии представлял собой сакральную фигуру. И не приходится удивляться тому, что «справедливость по-сицилийски» стала для Фридриха, как и для его отца Генриха VI, настоящим кладом.

За десять лет до появления «сицилийских вопросов» «человек из Апулии», как его называли в Германии, стал автором другого замечательного произведения. Это был свод законов, первый со времен Юстиниана: поначалу он получил название *Liber Augustialis*. Впоследствии этот документ не раз дополнялся, и в конце концов его стали именовать по месту создания — «конституция Мельфи».

Кодекс, разработанный в одном из любимых городов императора, по-разному оценивали и современники, и позднейшие историки. Папа Григорий IX писал сицилийскому самодержцу: «Дошло до наших ушей, что Ты, будучи соблазнен то ли собственной прихотью, то ли зловредными советами испорченных людей, вознамерился издать новые законы. Потому и называют Тебя гонителем церкви и разрушителем свободы в государстве» (6, с. 164). Одни исследователи считали «конституцию Мельфи» первой конституцией современного светского государства, содержащей представление о равенстве всех перед законом и защищающей права человека. Другие видели в ней рядовое «уложение», лишь слегка упорядочивающее средневековое норманнское законодательство (7, с. 168-169).

Кто же прав? «Конституция Мельфи» и в самом деле включала немало статей, опередивших свое время. В ней провозглашалось, например, равенство всех перед законом. И франк, и ломбардец, и римлянин — все получали одинаковые права. Более того, сам монарх обязывался соблюдать закон. Запрещались частные войны и кровная месть. Наконец, вопреки писанным и неписанным законам средневековья, специально формулировались права женщин.

Характерны основные аспекты этой защиты женских прав, предпринятой просвещенным императором. «Конституция Мельфи» предусматривала строгие меры против насильников, резко отличаясь в этом отношении от северогерманского законодательства. Матери, принуждающие дочерей к проституции, подлежали суровому наказанию, которое, однако, могло быть смягчено в случае, если «преступная мать» могла привести доказательство того, что к этому ее побудила нищета.

Недовольство папы было, однако, вполне обоснованным. Фридрих действительно сделал все возможное, чтобы ограничить права церкви. У духовно-рыцарских орденов — тамплиеров, иоаннитов, тевтонов — земля в буквальном смысле уходила из-под ног. При этом «человеку из Апулии» не было необходимости изобретать нечто новое: старинный норманнский закон запрещал передавать землю церкви или религиозному ордену без разрешения верховного правителя. Такое было возможно лишь при одном неперемennom условии: ленных обязательствах по

отношению к нему. Но рыцари-монахи были, разумеется, от подобных обязательств освобождены. И это теперь выходило им боком.

Не одна лишь церковь ощутила тяжелую руку Фридриха. С последними вольностями вынуждены были расстаться сицилийские города. Какой бы социальный слой ни затрагивала императорская политика, везде действовал принцип — «дать народу справедливость». А о своем понимании справедливости Фридрих высказался без обиняков: «Ничто не достойно ненависти более, чем угнетение бедных богатыми».

Многие теряли власть — и лишь одна сила в стране непрерывно ее наращивала: государственный аппарат. Все чиновники назначались императором и перед ним несли ответственность. Королевство было разделено на девять провинций — каждой провинцией управлял юстициарий. Управлять юстициариями должны были чиновники более высокого ранга — главные юстициарии. Их было всего два — и в ведении каждого находилась половина страны.

Главные юстициарии, в свою очередь, подчинялись великому юстициарию. Это был могущественный человек, державший в руках многие нити управления и в первую очередь ведавший всеми судебными делами в королевстве.

Как бы ни была, однако, велика власть юстициариев, все они — в том числе и верховный судья — находились под строгим и систематическим контролем. Уроженец провинции не мог занять должность ее юстициария. Ни сами юстициарии, ни их дети не имели права владеть землей в подведомственных провинциях. Не должны они были и вступать здесь в брак. Им запрещалось даже брать с собой жен, отправляясь в служебные поездки.

Юстициарии составляли, однако, лишь вершину административной пирамиды. Им подчинялись многочисленные судьи, советники, нотариусы и секретари. Все они оплачивались из государственной казны. Содержание чиновников было дорогостоящим делом. И Фридрих мобилизовал все имевшиеся средства: везде вводился строжайший государственный контроль; специальная служба собирала пошлину с купцов; на добычу соли, железа, на выращивание конопли, а также на производство красителей была установлена королевская монополия.

Все это было возможно лишь при одном условии: при тщательной и систематической работе с населением. И такая работа началась. Она охватила не только сановников, но и простой народ: «человек из Апулии» начал проводить (кажется, впервые в истории Европы) коллоквиум — специальные съезды представителей третьего сословия. Народные избранники собирались, однако, не с тем, чтобы «поговорить» с властями, а лишь для того, чтобы услышать из уст чиновника королевские предписания (6, с.178).

Однако Фридриха действительно нельзя было заподозрить в отсутствии внимания к народу. К числу его достижений относят и виртуозно организованную тайную полицию. Если об ее построении нам мало что известно, то применяемые ею методы говорят сами за себя. Главной задачей секретной службы был сбор информации о подозрительных лицах. На каждого заводилась специальная тетрадь. Здесь находило отражение все — даже то, откуда следователям стали известны его прегрешения — склонность к ереси, сношения с папским престолом или дружба с изгнанником. И когда негласное следствие подходило к концу, тетрадь показывали подозреваемому.

Надзор распространялся, однако, и на самих надзирателей. Два раза в год

А.В. ПИМЕНОВ

Дряхлый Восток и светлое будущее

подданный мог подать жалобу на любого чиновника. И подобно тому, как при анализе королевских финансов трудно было понять, где заканчивается государственная казна и начинается личное состояние Фридриха, не так просто было и определить, где проходит граница, отделяющая следователя от последственного и слугу от господина.

«Народное представительство», введенное Фридрихом, произвело сильное впечатление на исследователей. Джорджина Массон, восторженная почитательница «бессмертного императора», усматривает здесь «шаг к демократии» (6, с. 178). Каким бы обаятельным историческим персонажем ни был «человек из Апулии», истолковать коллоквиум таким образом можно, пожалуй, только при абсолютно верноподданническом отношении историка к своему герою.

Едва ли справедливы, однако, и утверждения, что режим Фридриха представлял собой «всего лишь упорядоченную феодальную систему XIII века» (7, с. 169). Такое сосредоточение в одних руках и политической, и экономической власти, такая степень государственного регулирования, всевластия чиновников, не говоря уже о вмешательстве государства в частную жизнь, — все это не слишком типично для западноевропейского феодализма в классическом его понимании.

Эти противоречивые оценки говорят сами за себя. Социальная система, сложившаяся в Сицилийском королевстве, действительно выглядит по новоевропейским стандартам то передовой, то чрезвычайно архаичной — смотря на какую из ее многочисленных граней обратить внимание. Но, подобно характеру самого Фридриха, она ускользает от понимания, если рассматривать ее лишь в контексте западной истории. О модели общества, которую развивал и укреплял наследник Штауфенов и норманнов, стремясь «дать народу справедливость», европейцы в то время не задумывались. Чтобы привлечь их внимание, она должна была прийти к ним извне и начать угрожать самим основам их существования.

Это случилось спустя двести три года после смерти Фридриха Великого.

Летом 1453 г. после осады, продолжавшейся около двух месяцев, войска турецкого султана Мехмеда II взяли штурмом Константинополь. Немедленное провозглашение новой державы — Османской империи — взамен прекратившей свое существование Византии означало резкий поворот в судьбе всего европейского мира. На карте Европы появилась восточная страна.

Создание Османской империи сразу же привело к многочисленным и разнообразным изменениям. Возник источник непреходящей военной опасности. Пришла в упадок заморская торговля: теперь между государствами Европы и Востоком существовала преграда, обойти которую было невозможно, и европейские купцы, торговавшие с азиатскими странами, должны были платить султану высокие пошлины. И если поиск новых торговых путей привел к великим географическим открытиям, то само присутствие Турции в Европе привело к появлению востоковедения.

О нейтральном и незаинтересованном описании предмета говорить не приходилось — слишком острая наступила историческая ситуация. Удивления достойно, однако, другое: лучшие умы тогдашней Европы отнюдь не всегда воспринимали Османскую державу лишь с военно-стратегической точки зрения. Напротив, для многих интеллектуалов XV-XVI веков она стала зеркалом своих собственных, европейских забот и чаяний: именно в это время создаются первые восточные утопии.

Свободомыслящие европейцы видели в Высокой Порте пример и даже идеал

социальной справедливости и, как сказали бы мы сегодня, своеобразного понятого демократизма. «В этой столь великой империи не существует какого-либо превосходства или знатности по крови», — сообщал венецианский представитель в Стамбуле А. Барбарини. «Во всем этом многочисленном обществе нет ни одного человека, который был бы обязан своим званием чему-либо, кроме своих личных заслуг и храбрости», — таково было впечатление посла Священной Римской империи (8, с.39-42). В глазах европейцев, приученных к сословному неравенству, такие порядки выглядели почти революционно.

Неудивительно, что именно революционеры они в первую очередь и вдохновляли. «Лучше турки, чем папа», — к такому выводу пришел Ульрих фон Гуттен. Не чужд таких настроений был и Т. Кампанелла (9).

Но и сильные мира сего, стремившиеся не допустить социального катаклизма, также не прошли мимо турецкого опыта. Историки не раз отмечали воздействие османских традиций — государственного управления и регулирования, заботы о бедных, стариках — на социальную политику контрреформации. И справедливо связывали с «восточным влиянием» многие мероприятия такого рода, оказавшиеся немаловажными для преодоления кризиса, охватившего католический мир (10).

Примечательно, однако, что наиболее восторженные оценки османской системы мы находим в сочинении русского писателя XVI века Ивана Пересветова «Сказание о Магмете Салтане». Его герой — это и есть султан Мехмед II, победитель Византии. Пересветов изобразил османского государя настоящим философом на престоле, справедливым и мудрым правителем. «Турецкий царь Махмет-Салтан, — так начинается его повествование, — сам был философ мудрый по своим книгам по турецким, а греческие книги прочет, и написал слово в слово по турецкий, ино великия мудрости прибыло у царя» (11, с.264).

В чем же выразилась эта мудрость? Оказывается, Махмет-Салтан «велел со всего царства все доходы себе в казну имати, а никому ни в котором граде наместничество не дал велможам своим для того, чтобы не прельдились неправдою судити и обронил велмож своим из казны своей, кто чего достоин» (11, с.265). И результат не замедлил сказаться: лукавые греки оказались в «неволе» у «царя турецкого за гордость и неправду». Потому-то Пересветов не просто хвалит своего героя, но еще и призывает собственного государя — Ивана Васильевича Грозного — последовать его примеру. Общество османов представляется ему идеальным во всех отношениях, кроме, разумеется, религиозного. Но и тут сочувственный тон не изменяет ему. «Чтобы к той истинной вере христианской да правда турецкая, ино бы с ними ангели беседовали. А к той бы правде турецкой да вера христианская, ино бы с ними ангели же беседовали» (11, с.304).

Прошло не так уж много времени, и западная интеллектуальная элита потеряла интерес к «турецкой правде». Держава султанов олицетворяла теперь косность и отсталость. Купцы и философы познакомили своих читателей с теньвыми сторонами османского государственного устройства. Произшедшая смена вех объяснялась, однако, не одной лишь возросшей информированностью, да и не ослаблением самого мусульманского государства. То, что прежде восхищало, теперь вызывало неприязнь: претерпели изменения сами идеалы западного мира. Пусть всякая империя создается посредством завоевания — судьбы покоренных народов не похожи одна на другую. И попасть под

Л.В. ПИМЕНОВ
Дряхлый Восток и светлое будущее

гнет османов — подлинная трагедия. «Когда азиатские народы, вроде турок и татар, совершали завоевания, — рассуждал Монтескье, — они, будучи сами подчинены воле одного повелителя, помышляли только о том, чтобы доставить ему новых подданных и с помощью оружия утвердить его насильственную власть. Народы же северные, будучи свободными в собственных странах, отнюдь не предоставляли своим вождям большой власти в завоеванных римских провинциях» (1, с.304).

Суждения Монтескье очень точно выражали просветительское понимание восточного общества. «Свобода, — говорит герой «Персидских писем», — создана, по-видимому, для европейских народов, а рабство — для азиатских. Римляне тщетно предлагали каппадокийцам этот драгоценный дар: низкий народ кинулся навстречу рабству с такою же поспешностью, как другие народы — навстречу свободе» (1, с.303-304).

Речь шла, однако, только о «ближнем Востоке». Наряду с ним существовал и другой, «Дальний Восток», и вызывал он совершенно иные чувства. Если первый поставлял материал для памфлетов, то второй — для благостных нравоучений. И для него готов был сделать оговорку даже непримиримый Монтескье.

Во второй половине XVII века идеальное государство переместилось из Османской империи в Китай. Для тех, кто искал идеал на Востоке, эта страна оказалась намного удобнее, чем держава Махмет-Салтана. Китай находился далеко: европейцев не связывали с ним общие интересы, но от Поднебесной империи не исходило и никакой угрозы. И, наконец, о Китае просто было мало известно. Сведения о нем попадали в Европу, главным образом, благодаря миссионерам-иезуитам. Их информация была отрывочной и тенденциозной, но, как правило, благожелательной, а иногда и просто восторженной. И низкие истины почти не мешали становлению новой утопии.

У истоков апологетической китаефильской традиции стояли два совершенно разных человека — Франсуа Ламот Левайс и Готфрид Вильгельм Лейбниц. Их несходство (Ламот Левайс был намного старше Лейбница, был учителем Людовика XIV и не был выдающимся философом) не помешало им иметь весьма сходные представления о Китае.

Новое восточное увлечение европейцев в некоторых отношениях отличалось от предыдущего. Теперь их интересовало не одно лишь справедливое государственное устройство, но и обеспечивающая его духовная традиция.

Конечно, и сама модель восприятия не осталась без изменений. То, что просветители хотели обнаружить в Китае, отличалось от того, что «поклонники полумесяца» искали в Османской державе. Поднебесная империя должна была служить моделью разумного мироустройства. Царство Разума, которое в Европе еще только предстояло создать, уже много столетий существовало на Востоке. И если сознание европейцев еще только предстояло освободить от вековых догм и предрассудков, то для китайцев это счастливое состояние — норма. Если европейцы нуждаются в просвещении, то китайцы просвещены изначально.

Им неведомы ни фанатизм, ни религиозные войны, ни инквизиция — и в первую очередь потому, что все это несовместимо с их религией — конфуцианством. Великий учитель Китая Конфуций уже в III веке до н.э. создал этический кодекс, принципы которого, ясные и недвусмысленные, должны лежать в основе

поведения всякого разумного, естественного человека. Главное их достоинство состоит в том, что они не противоречат разуму. Здесь нет места, как сказал бы Лев Шестов, «абсурду и парадоксу». Не «любите врагов своих», а «платите добром за добро, а за зло отдавайте по справедливости...».

Лучшим подтверждением всех этих достоинств была китайская социальная система. Природное равенство людей и их неравенство перед законом, случайность рождения и зависимость человека от сословного статуса — вот что занимало умы просветителей. Но оказывалось, что и эта проблема решена в Китае как нельзя лучше.

Заменить иерархию предков иерархией способностей помогла китайская система государственных экзаменов. Она выглядела намного надежнее, чем «справедливость» султана, своей волей возвышающего людей низкого звания. Речь шла теперь об отлаженном механизме, работающем бесперебойно и не зависящем от произвола отдельного человека. Чтобы получить должность, занять место в государственном аппарате, житель Поднебесной империи должен был не родиться дворянином и даже не обладать крупным состоянием, чтобы иметь возможность давать взятки, а сдать экзамен.

Пришел, однако, конец и моде на Китай. И снова главной причиной тому стала не информация, а интуиция, не развитие эмпирической науки, а конец эпохи Просвещения. В китайской утопии не было больше нужды, потому что теперь она осуществилась и в Европе.

Как свидетельство потрясения, пережитого французским образованным обществом, и представления об «иррациональных» результатах, к которым привело становление «царства разума» в ходе Великой революции, — характерен рассказ Лагарпа о пророчестве Казота. Видение Казота (независимо от того или иного решения «источниковедческих» вопросов, его касающихся) замечательно не только как образ террора, но и как представление о подлинном облике эпохи, когда «суеверие и фанатизм» уступают место «философии». Примечательно, с одной стороны, начало рассказа («Все единогласно утверждают, что революция не замедлит свершиться и начинают подсчитывать приблизительно возможное время ее наступления»), с другой же, — его кульминационный момент, когда один из собеседников Казота, потрясенный предсказанием гибели присутствующих во время грядущей революции, восклицает: «... В таком случае мы будем под игом турок и татар!», — и слышит в ответ: «Нисколько... Вами будет править одна Философия, один Разум» (12, с.244-248; 13, с. 199-203).

При этом не исчезли ни интерес к восточным обществам, ни утопическое мышление, ни стремление совместить одно с другим. Примечательно, однако, что и теоретическая модель для описания восточных обществ к этому времени уже сложилась. Достоинно внимания и другое: ее создатель Франсуа Бернье враждебно относился к «восточному утопизму» и был вполне равнодушен к созданию «моделей».

Контурь восточного деспотизма

«В одной земле сидит на троне салтан Махнут турецкий, а в другой — салтан Махнут персидский. ...И что ни судят они, все неправильно. ...Такой уж им предел положен... И все судьи у них... тоже все неправедные; так им, милая девушка, и в просьбах пишут: «Суди меня, судья неправедный!».

А.Н. Островский
 «На всякого мудреца довольно простоты»)

Бернье можно отнести к самым знаменитым путешественникам, но одновременно — и к самым необычным. Правда, можно ли счесть «обычным» человека, пустившегося в далекий и опасный путь, прошедшего долгие годы в стране почти неизвестной в те времена европейцам, да вдобавок рассказавшего европейцам о ней в необыкновенно увлекательной форме? Но в том-то и дело: где и в какой момент Бернье оказался и как он позднее рассказал об этом своим современникам.

Подданный короля-солнца Людовика XIV, ученик Гассенди, современник Расина и Мольера, Франсуа Бернье окончил в 1652 г. университет в Монпелье и получил степень доктора медицины (ему исполнилось тогда тридцать два года). По окончании учения начинаются годы странствий; за первым путешествием в Палестину и Сирию следуют новые, более длительные. Объездив Египет и другие арабские страны, Бернье устремляется дальше на Восток. В 1658 г. (или, самое позднее, в начале 1659 г.) он достигает Индии.

Тридцативосьмилетний путешественник ступил на индийскую землю в драматический момент. Уже сто тридцать лет большей частью полуострова Индостан правили Великие Моголы, наследники Бабура, пришедшего сюда из Ферганы. В последние годы царствования Шах Джахана, пятого представителя могольской династии, разразилась война между его сыновьями, оспаривавшими друг у друга верховную власть. Основными участниками этой кровавой драмы стали старший сын Шах Джахана, наследник престола принц Дара Шукох и средний сын падишаха Аурангзеб. Дара был знатоком индийской словесности, переводчиком Упанишад на персидский (официальный язык империи), незаурядным мыслителем. Будучи последователем своего прадеда Акбара, с его концепцией Дин-и — илахи (Божественной веры), он писал о «слиянии двух океанов» — мусульманской и индуистской духовных традиций. Религиозно-синкретические замыслы Дары представляют огромный интерес для историка индийской культуры. Правителем же он оказался, однако, неудачливым: обладая поначалу важными, обусловленными его положением законного наследника преимуществами, Дара Шукох проиграл своему брату как на поле сражения, так и в искусстве политической интриги. Потерпев поражение, он лишился не только трона, но и жизни: в том же году Аурангзеб велел казнить его, как человека представляющего опасность для мусульманской религии и общественного порядка (14).

Самому же Аурангзебу религиозные поиски были чужды. Его стремление ни

в чем не отступать от норм ислама проявилось, в частности, в том, что, придя к власти, он восстановил давно отмененную джизию — налог, взимаемый с иноверцев (эти «иноверцы», т.е. в первую очередь индусы, составляли огромное большинство населения). Беспощадный и подозрительный, безукоризненно владевший собой и обладавший непревзойденной способностью скрывать свои подлинные намерения, Аурангзеб был, как это признает впоследствии и Бернье, выдающимся государственным деятелем. При нем империя Моголов достигла своего наивысшего расцвета. «Могольский полумесяц стал полной луной» — так звучала известная в те времена поговорка.

Потребовалось время, чтобы осознать: расцвет империи уже содержал зерно ее гибели. Спустя менее чем сто лет после казни Дара Шукоха держава, основанная Бабуром, уже стояла на пороге распада. Но Бернье, разумеется, не мог об этом догадываться. Неожиданно для себя он оказался в самом центре событий. Весной 1659 г. он был захвачен войсками Дара Шукоха и в течение некоторого времени сопровождал его, выполняя при наследном принце функции лейб-медика. После поражения Дары и его бегства в Синд для Бернье наступили тяжелые времена. Только через четыре года он попадает в Дели — и тут его ждет новая удача. Путешественник снова становится придворным лекарем — на сей раз у победителя Аурангзеба. В общей сложности Бернье провел в Индии тринадцать лет. Положение придворного врача обеспечило ему ни с чем не сравнимые преимущества — он мог наблюдать такие стороны жизни, прежде всего политической, которые в те времена оставались для европейцев тайной за семью печатями. Свои возможности французский врач использовал сполна: главным его произведением, посвященным Индии, стала «История последних политических переворотов в государстве Великого Могола» — книга, где он подробно рассказывает о междоусобной войне, свидетелем которой ему пришлось стать. («История» была не единственным произведением Бернье об Индии. Ценнейший источник сведений о самых различных сторонах индийской жизни представляют собой и его письма, написанные Бернье в разное время.)

Бернье вошел, однако, в историю не только как автор увлекательных описаний восточного быта. Несмотря на то, что он, точно и правдиво регистрируя свои наблюдения, вовсе не стремился к построению каких-либо общих концепций, его книга сыграла именно «парадигмальную» роль в формировании европейских представлений о восточном обществе. Здесь мы встречаем картину «азиатского деспотизма» — исторически первую и поразительную по точности.

Бернье увидел не одну лишь безграничную власть падишаха, перед волей которого все равны, — он точно описал вполне вещественную основу, на которой покоилось такое могущество. Вот что Бернье рассказывает о ней в своем известном письме к королевскому интенданту Кольберу: «...Обратите внимание на то, что Великий Могол является наследником всех эмиров, или вельмож, и мансебдаров, или маленьких эмиров, которые состоят у него на жалованьи, а также на то, что все земли государства, — а это имеет важнейшие последствия, — составляют его собственность за исключением кое-каких домов или садов, которые он позволяет своим подданным продавать, делить или покупать друг у друга по их усмотрению. Все эти факты убедительно указывают на то, что ...Великий Могол, являющийся государем Индостана, по крайней мере лучшей его части, получает огромные доходы и владеет огромными богатствами» (14, с.184-185).

Конечно, нельзя сказать, что Бернье обнаружил это первым. Случалось нечто подобное и раньше — вспомним хотя бы Ивана Пересветова. В картине,

А.В. ПИМЕНОВ

Дряхлый Восток и светлое будущее

которую нарисовал французский медик, было необычно другое: реализм и отсутствие поучений. Он не ставит индийские порядки никому в пример, но и не обличает их. Он хочет их понять, но при этом не дает повода усомниться в отстраненности своей позиции.

Всякий раз, когда приходило освобождение от очередного восточного миража (в данном случае — османского), становились яснее особенности азиатской социальной архитектуры. Если вершиной этой пирамиды является падишах или император, то фундаментом — земледельцы, объединенные в общины; с них-то многочисленные чиновники собирают налоги; взятое у крестьян перераспределяется затем среди власть имущих, в соответствии с рангом каждого из них.

Государственный аппарат — это и есть настоящий господствующий класс в этом обществе. Он отстаивает не чьи-то интересы, а свои собственные. Занимать здесь ключевые позиции означает не обладать богатством или принадлежать к знатному роду, а находиться на высокой ступени административной лестницы. Вернее, только в последнем случае материальное благополучие становится социально защищенным.

Однако не менее, чем сама эта картина, интересно отношение к ней наблюдателя-европейца. Его принцип мы также обнаруживаем у Бернье.

«Эти три государства — Турция, Персия и Индостан, — объясняет он, — уничтожив понятие «мое» и «твое» по отношению к земельным владениям, что является основой всего, что есть в мире ценного и прекрасного, поневоле очень похожи друг на друга и имеют один и тот же недостаток: рано или поздно их неизбежно постигнут те же бедствия, та же тирания, то же разорение, то же опустошение» (14, с.206).

Чтобы проиллюстрировать мысль Бернье, достаточно вспомнить, как был организован государственный аппарат в державе Моголов. Он был многочислен, разветвлен, чрезвычайно эффективен и подчинен одному лишь падишаху.

Административную пирамиду (ее подлинным создателем был Акбар, третий император могольского дома) можно без всякой натяжки назвать армией. Все сановники именовались мансебдарами, т.е. «военачальниками», и делились на тридцать три ранга. Самым низким из них был ранг мансебдара-десятника, а высшими — звания семи-, восьми- и десятитысячника. Три высших поста занимали сыновья Акбара.

Все мансебдары получали жалованье из имперской казны. Оно, разумеется, было неодинаковым у чиновников разного уровня, но всегда оставалось очень высоким. Акбар понимал, что чиновники будут верно служить ему лишь в том случае, если будут жить намного лучше, чем остальное население. И мансебдары обычно составляли за время службы немалые состояния.

Но одно препятствие преодолеть было невозможно. После смерти мансебдара все накопленные им богатства возвращались в государственную казну. Его семье полагалось приличное содержание, но унаследовать состояние она не могла. И чиновники могольской державы стремились поразить окружающих и друг друга невиданной роскошью одежды, жилища и т.д., однако они были не властны передать своим детям то благосостояние, которого добились сами. Моголы методически предотвращали появление наследственной аристократии (сходной с европейской), которая могла бы ограничить их власть

Французский путешественник ошибся лишь в одном. Понятий «мое» и «твое» ни в Турции, ни в Персии, ни в Индии никто не «уничтожал». В этом не было

необходимости по той простой причине, что представления о частной собственности в западном ее понимании здесь никогда не было. За много столетий до появления в Индии мусульман здесь существовал, например, обычай, именуемый упекша — «небрежение». Если некто, владевший земельным наделом, исчезал на длительное время, т.е. «пренебрегал» своей землей, то один из соседей, завладевший ею, не скрывая этого, на глазах у односельчан, и проявивший себя рачительным хозяином, начинал рассматриваться как законный владделец. Между общиной и частным лицом не существовало границы.

Подход Бернье не сводится, однако, к защите частной собственности. Как раз напротив, его отношение к изображаемым порядкам — вполне сочувственное. Он ни разу не осуждает ни деспотизм в целом, ни Аурангзеба персонально. Более того, в специальном дополнении к его книге мы находим проникновенное рассуждение о том, какой это мудрый, справедливый, во всех отношениях необыкновенный правитель.

В чем же дело? Не отсутствие европейских ценностей — дорогих Бернье — занимает его в данном случае, но вопрос о том, может ли абсолютистская Франция позаимствовать азиатское отношение к собственности. Не следует ли сделать короля-солнце наследником всех земельных владений? Бернье отвечает на этот вопрос резко отрицательно. Он прожил в Индии много лет и согласен с тем, что здесь иначе нельзя. Но он не хочет, чтобы так было у него на родине.

Во многих отношениях Бернье предвосхитил будущее. На смену поискам правды на Востоке постепенно приходили недоумение и отстраненность. В XVIII веке апологетические настроения были еще сильны, и Вольтер вообще отказывался верить, что процветание Китая не сопровождалось наличием частной собственности. А в XIX веке Маркс уже говорил о «поголовном рабстве» на Востоке; Гегель же еще раньше уточнил, что в «восточном мире» свободен лишь один человек (кто он — все понимали без специальных разъяснений), в то время как остальные этой свободы лишены; и, наконец, именно в связи с азиатским деспотизмом Джон Стюарт Милль заметил, что если любая власть портит человека, то власть абсолютная абсолютно и портит.

Однако чем дальше, тем явственнее слышится и другой мотив. Обсуждение азиатского деспотизма становится мало-помалу жгучей европейской проблемой. Его корни, его почва — все это, оказывается, можно найти не в заморском далеке, а совсем рядом.

Вот что говорит о позиции Д.С. Милля его современник А.И. Герцен: «Мещанство... толпа без невежества, но и без образования... Милль видит, что все вокруг него пошлеет, мельчает... Он вовсе не преувеличивал, говоря о суживании ума, энергии, о стертости личностей, о постоянном мельчании жизни, о постоянном исключении из нее общечеловеческих интересов, о сведении ее на интересы торговой конторы и мещанского благосостояния. Милль прямо говорит, что по этому пути Англия делается Китаем, — мы к этому прибавим: и не одна Англия». Герцен подводит итог: «Если в Европе не произойдет какой-нибудь неожиданный переворот, который возродит человеческую личность и даст ей силу победить мещанство, то ... Европа делается Китаем» (15).

Стоит вспомнить рассуждения о «позитивизме» как духовной основе, объединяющей Китай с западным меанством, Д.С. Мережковского в его знаменитой статье «Грядущий Хам»: «Вот где главная «желтая» опасность — не извне, а

А.В. ПИМЕНОВ
Дряхлый Восток и светлое будущее

изнутри; не в том, что Китай идет в Европу, а в том, что Европа идет в Китай» (16, с. 351-354).

Как возник, однако, настоящий Китай? Чем обширнее становилась информация о восточных обществах, чем полнее становилась картина всеобъемлющего деспотизма, по своим методам и формам столь непривычного для жителей Западной Европы, в чьем представлении государству все чаще отводилась роль «ночного сторожа», надзирающего за порядком и обслуживающего интересы граждан, тем чаще исследователи задавались вопросом: в чем причина такого всевластия государства на Востоке?

Ответом на этот вопрос стала теория азиатского способа производства.

Наиболее точное ее название появилось уже в XX веке — теория гидравлического общества. Однако концептуальное ядро сложилось во времена Милля. Пожертвовать личной свободой жителям восточных стран пришлось тысячи лет назад — под влиянием самого бесспорного и долговечного фактора: климата. В Египте и Междуречье, т.е. в тех обществах Древнего Востока, которые западные ученые уже успели изучить, земледелие было невозможно без искусственного орошения земли. Но никакая деревня, никакая крестьянская община не была, разумеется, в состоянии взять на себя строительство огромных и дорогостоящих ирригационных сооружений. Такое могло быть осуществлено только в масштабе всей страны, и лишь верховная власть обладала необходимыми для этого возможностями. Только государство было способно мобилизовать массы людей и взять на себя организацию подобных работ. А коль скоро это так, то и роль такого государства не могла не быть намного больше, чем роль «ночного сторожа»: от сноровки и организаторских способностей аппарата управления зависела жизнь народа, населявшего страну. В этой ситуации тотальный контроль чиновников казался если не оправданным, то вполне объяснимым.

Необходимость искусственного орошения как необходимое и достаточное условие восточного деспотизма долгое время не вызывала сомнений у тех, кто хотел объяснить своеобразие азиатского общества. Карл Маркс, рассматривавший Восток в контексте своей теории формаций, говорил об «азиатском способе производства», основанном на ирригации. А в XX столетии его идеи развил выдающийся ученый Карл Август Виттфогель. Ему-то и принадлежит теория «гидравлического общества». Как мало кто из исследователей, Виттфогель сочетал в себе черты скрупулезного специалиста-синолога и социального мыслителя, склонного к широким обобщениям. Он не только описал самые различные восточные общества, но и подробно классифицировал их. В своих выводах он был на редкость последователен: особенности той или иной системы власти и в первую очередь мера ее «деспотичности» зависели от одного фактора

— оттого, какое значение здесь имело искусственное орошение.

Для немецкого историка изучение древнего Китая и других азиатских империй означало не только анализ прошлого, но и осмысление того, что произошло в XX веке — в том числе и на Западе. В своей знаменитой книге «Восточная деспотия. Сравнительное исследование тотальной власти» он одним из первых, обнаружил в строении современных тоталитарных режимов (в первую очередь советского) черты обществ с «азиатским способом производства».

Виттфогель с полной ясностью сформулировал сверхзадачу своего исследования - защитить либеральные и демократические ценности. «Моя вера в эти ценности, - писал он в предисловии к своей книге, - привела меня в 1933 г. в гитлеровский

концлагерь. С тех пор я часто думал о своих товарищах, прошедших вместе со мной сквозь ад тоталитарного террора. Некоторые из них мечтали о великом перевороте, который превратит их из заключенных и жертв в надзирателей и власть имущих. Они ненавидели не тоталитарные методы, но те цели, ради достижения которых эти методы применялись. Другие думали иначе. Они просили меня, если мне посчастливится вырваться на свободу, чтобы я разъяснил всем людям доброй воли бесчеловечность тоталитарного господства в любой форме и в любой маске» (17).

Эта недвусмысленно выраженная «тенденция», а прежде и взрывоопасность самой проблемы были замечены вовремя. «Две дискуссии об азиатском способе производства, одна из которых имела место в советской науке в конце 20-х — начале 30-х годов, а другая — в 60-х — начале 70-х годов, — писал Ю.И. Семенов, — были насильственно прерваны. И это совершенно не случайно. Исследование азиатского способа производства давало ключ для понимания нашего общества, что было крайне нежелательно для господствующего класса» (18, с.17).

Но трудности лежали не в одной лишь политической сфере. Последовательная и логичная концепция оказалась, однако, взорвана многообразным материалом. Чем дальше продвигались исследователи в изучении конкретных азиатских обществ, тем очевиднее становилось, что роль искусственного орошения с самого начала была сильно преувеличена. Оно действительно играло жизненно важную роль на Ближнем Востоке, который был хорошо изучен европейцами уже к концу XIX столетия. Но за пределами Египта и Месопотамии оно встречалось значительно реже, чем казалось поначалу. А применение грандиозных ирригационных систем, находившихся в ведении государства, и вовсе не было правилом для всех стран и народов Азии. Оно было распространено намного меньше, чем модель «восточного деспотизма».

Со всеми этими фактами Виттфогель не мог не считаться. И вынужден был делать все больше и больше оговорок. До конца жизни оставаясь приверженцем «водяной теории», немецкий ученый подразделял деспотические общества на «полу-» и «четверть-гидравлические», чтобы продемонстрировать если не прямую, то косвенную связь деспотизма с ирригацией.

На все эти обстоятельства обращали, разумеется, внимание и советские критики Виттфогеля. Смешанное чувство досады и любопытства вызывает сегодня незатейливый набор пропагандистских упреков в его адрес, приправленный и тщательно отобранными иллюстрациями «эмпирических исследований».

«Ренегат коммунизма, реакционер К.А. Виттфогель признает и даже подчеркивает, что К. Маркс и Ф. Энгельс изменили взгляды на азиатское общество, отказались от понятия «азиатский способ производства», — писал, например, В.Н. Никифоров в книге, призванной «подвести итоги» дискуссиям об азиатском способе производства в 60 — 70 годах. «Виттфогель, — автор постепенно усиливал напряжение, — объясняет это страхом К. Маркса и Ф. Энгельса перед конечными выводами, напрашивавшимися, по его словам, из гипотезы азиатской формации. Дело якобы в том, что азиатский способ производства, характеризующийся отсутствием частной собственности на средства производства — землю, служил на Востоке базой деспотизма, а это-де не может не натолкнуть на мысль о неизбежности деспотизма и при социалистическом строе. Правда, не говоря уже о бросающемся в глаза клеветническом, антикоммунистическом характере всего рассуждения, Виттфогель не в состоянии привести ни одного факта, ни одной цитаты, которые

А.В. ПИМЕНОВ
Дряхлый Восток и светлое будущее

подтвердили бы, что К. Маркс и Ф. Энгельс действительно заметили какие-то страшные для социализма выводы. Но отсутствие фактов Виттфогеля не беспокоит...» (19, с.131).

Что же беспокоило самих официозных советских историков в теории азиатской формации? Несомненно, — виттфогелевский анализ ее эволюции у самого Маркса и размышления о «замалчивании» (*Verstummlung*) восточного деспотизма в позднейшей марксистской традиции. Рассуждения о полемике Ленина с Плехановым, говорившим о возможности «азиатской реставрации» в России после победы революции. И, конечно, констатация очевидного сходства между азиатским деспотизмом и тоталитарным режимом в СССР. Скупое, вскользь они упоминали о том, что в действительности находилось в центре их внимания: «Виттфогель клеветнически распространяет свои выводы о восточной деспотии на социалистические страны, на государственный сектор в современных развивающихся странах» (19, с.186).

Не меньше можно, однако, обнаружить и примеров «мягкой» косвенной полемики. Ее пафос иной: сам предмет спора устарел, и лучше всего об этом свидетельствуют данные «конкретной науки»: «В 20-30 гг. этот вопрос [об азиатском способе производства — А.П.] оживленно обсуждался в советской исторической науке. Но дискуссии не дали существенных научных результатов, так как в центре внимания были не столько факты истории стран древнего и средневекового Востока, сколько вопрос о том, что подразумевал К. Маркс под термином «азиатский способ производства». К тому же на ход дискуссии немалое воздействие оказали моменты, вовсе не имевшие отношения к науке (21, с.484-485). Что верно, то верно — обстоятельства, не имевшие прямого отношения к науке, не только «оказали немалое воздействие на ход дискуссии», но и обусловили ее «результаты». Единственный выход — отстраниться от дискуссии. И сохранить в неприкосновенности официозную концепцию, т.е. признать, что на Древнем Востоке господствовали рабовладельческие отношения, а в средневековых восточных обществах — феодальные. Разумеется, со всеми необходимыми оговорками относительно «восточной специфики».

Правда, в приведенном отрывке решается более скромная, частная задача — доказать, что азиатский способ производства отсутствовал в древней Индии. И эта цель достигается с максимальной простотой. Каковы основные черты азиатского способа производства? «Государство выполняло жизненно важную функцию по строительству и регулированию оросительной системы». Но для Индии — в отличие от Египта и Месопотамии — это не характерно. Далее, в обществах с азиатским способом производства государство — верховный собственник земли. Частная собственность на землю здесь отсутствует. Этот вопрос оказывается наиболее сложным. Г.Ф.Ильин ссылается на то, что Индия вообще отличается необыкновенным разнообразием условий. Здесь существовала племенная и общинная собственность на землю, а «в наиболее развитых государствах — в его [государства — А. П.] непосредственном ведении находились только свободные (никому не принадлежавшие) земли, лес и воды. Обрабатываемая же земля принадлежала частным собственникам, пастбища — общинам. Обрабатываемая земля покупалась, продавалась, дарилась, закладывалась, передавалась по наследству. Хозяин земли мог обладать всеми основными правами частного собственника — правами владения, пользования и распоряжения. Поэтому считать государство единственным собственником земли неправомерно. ...Таким образом,... Индию нельзя считать страной, где господствовал азиатский способ производства» (20, с.485).

Приведенное рассуждение примечательно не только в историческом аспекте, но и в психологическом. Помимо ссылок и аргументов, о которых можно спорить, нельзя не заметить желания как можно скорее этот спор прекратить. Цель здесь — не раскрыть сложную систему общественных отношений, а доказать, что в ней не было ничего особенного.

Критические замечания в адрес «гидравлической теории», однако, справедливы. Но даже если в Индии нет искусственной ирригации в государственном масштабе, разве легче обнаружить здесь рабовладение и феодализм в европейском смысле этих слов? Чем же они предпочтительней злосчастного азиатского способа производства? Разве нельзя отметить неудобные аналогии с современностью каким-то иным способом?

Действительно, если изучаемое нами древнее общество имеет черты сходства с «реальным социализмом», то не так уж и важно, как мы назовем это общество — азиатским, рабовладельческим или феодальным. Об этом, а также о трудном положении, в которое попадает исследователь, стремящийся к достоверному воспроизведению реальности, но вынужденный следовать схеме, может дать представление другая работа — на этот раз посвященная столь прочувствованной западным сознанием Османской империи. Н.А. Иванов, известный специалист по «османскому феодализму», характеризует в подробностях средневековое турецкое общество. Найдя здесь все — и «самодовлеющий характер государства», и государственную собственность, он приходит к красноречивому выводу: эта социальная структура «не имела прямых параллелей ни в одном из средневековых феодальных обществ Европы». И предлагает «рассматривать арабо-османское общество XVI — начала XX века как особую форму докапиталистического феодального общества, *лишь стадияльно соответствующего европейскому феодализму...* [курсив мой — А.П.]» (21, с.147).

Тут-то, однако, и начинаются вопросы. Почему социальная структура, «не имеющая прямых аналогов» с европейским феодализмом, должна ему «стадияльно соответствовать»? Только потому, что существовала в одно время с ним? Тогда много ли проку от установления такого соответствия? Однако ключ к проблеме скрывается именно здесь. Ведь «формация» — это не просто «типы» общественной организации, каждая из них — это еще и стадия в мировом историческом процессе, эпоха всемирного развития. Вопрос о точном определении таких эпох, равно как и о количестве ступеней на исторической лестнице, в конце концов можно обсуждать. Хуже другое: и «восточный мир» Гегеля, и «азиатская формация» Маркса означали первичное цивилизованное (классовое) общество, предшествующее античному. Здесь марксистская экзегеза становилась своеобразной политической генеологией — установление родства и исторической преемственности. Отнести то или иное общество (страну) точнее, их прошлое, к азиатской формации, означало для них существенное понижение в чине. Здесь был возможен лишь один вывод: восточное общество — в данном случае речь идет об османском, но только ли о нем она может зайти? — стоит на много ступеней «ниже» западного — гораздо ниже, чем средневековый феодализм или античность. Такой социальный фундамент легко найти и признать у другого, но не у себя. (Ученые развивающихся стран неоднократно проиллюстрировали это на собственном примере.) (21, с.134).

Речь шла, таким образом, о языке описания. Обтекаемые формулировки скрывали дилемму: или наблюдение «приличный», или как раньше — объективный отстраненный анализ, почти неизбежно переходящий в памфлет.

А.В. ПИМЕНОВ
Дряхлый Восток и светлое будущее

Примечательна реакция индийского сознания на картину, нарисованную в свое время Ф. Бернье: «Сообщения Бернье считаются важнейшим источником по периоду правления Аурангзеба. Если иметь в виду его высказывание, что Франция до революции 1789 г. «управлялась без нарушения чьих-то прав», то можно не без оснований прийти к выводу, что он неспособен был делать правильные заключения. **Но этот враждебно настроенный критик порядков, существовавших в Индии при Моголах** [журный курсив мой — А.П.] , который рисует нам блестящую картину хорошего управления во Франции до Французской революции, далее он считает необходимым привлечь внимание своего правительства к изобилию зерна, риса, и других жизненно важных продуктов в Бенгалии...Он указывает, почему Индия всегда имела благоприятный торговый баланс, поглощая золото и серебро из других стран мира» (22, с.274). Даже почти не сопровождаемое теоретизированием и к тому же объективное, а зачастую и доброжелательное изображение деспотического социального устройства, которое мы встречаем у Бернье, воспринимается как «враждебная критика».

(продолжение следует)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Монтескье Ш. Персидские письма М., 1956
2. Олдос Хаксли. О дивный новый мир // Утопия и антиутопия XX века. М., 1990.
3. Гинзбург Л. Литература в поисках реальности. Л., 1987.
4. Чапек К. Война с саламандрами. М., 1965.
5. Стеблин-Каменский М.И. Миф. Л., 1976.
6. Masson G. Stupor Mundi. "Tubingen, 1958.
7. Колесницкий Н.Ф. «Священная римская империя»: притязания и действительность. М., 1977.
8. Lybyer H. The Government of the Ottoman Empire in Time of Suleiman the Magnificent. Cambridge, 1913.
9. Егоров Д.Н. Идея «турецкой реформации» в XVI веке // Русская мысль. 1907. № 7. Отд.П.
10. Иванов Н.А. Ислам и контрреформация // Щсманское завоевание арабских стран. М., 1984
11. Пересветов И. Сказание о Магмете Сатгане // Хрестоматия по древнерусской литературе/Сост. Н.К. Гудзий. М., 1952.
12. Уолпол Г. Замок Отранто; Казот. Влюбленный дьявол; Бекфорд, Ватек. Л., 1967.
13. Волошин Максимилиан. Лики творчества. Л., 1988.
14. Франсуа Бернье. История последних политических переворотов в государстве Великого Могола. М., 1936.
15. Герцен А.И. Концы и начала. М., 1988
16. Мережковский Д.С. В тихом омуте. М., 1991.
17. Karl A. Wittfogel. Die orientalische Despotie Eine vergleichende Untersuchung totaler Macht. Kohn-Berlin. 1962.
18. Семенов Ю.И. Россия: что с ней случилось в двадцатом веке. М., 1993.
19. Никифоров В.Н. Восток и всемирная история. М., 1975.
20. Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. М., 1985.
22. Иванов Н.А. О типологических особенностях арабо-османского феодализма // Типы общественных отношений на Востоке в средние века. М., 1982.
23. Синха Н.К., Банерджи А.Ч. История Индии. М., 1954.